



Николай Мамин

**КРОХАЛЬСКИЙ СЕРПАНТИН**  
**ЗАКОНЫ**  
**СОВМЕСТНОГО ПЛАВАНИЯ**

Аллея

Николай Мамин

**Крохальский серпантин.  
Законы совместного плавания**

Издательство "Руда"

1964, 1966

ББК 84(2Рос=Рус)

**Мамин Н. И.**

Крохальский серпантин. Законы совместного плавания /  
Н. И. Мамин — Издательство "Руда", 1964, 1966 — (Аллея)

ISBN 978-5-6043363-1-1

Герои Николая Мамина полнее всего раскрываются в драматической, напряжённой обстановке, когда душа человека высвечивается изнутри. Порой достаточно мгновения, чтоб подлинная его сущность стала бесспорной. Не надо съедать пресловутый пуд соли, чтобы узнать друг друга. Надо один раз вместе провести машину над обрывом по северному тракту, оказаться перед лицом врага, пройти через таёжный бурелом... Здесь выверяются и формируются моральные принципы, которые писатель назвал законами совместного плавания. Они просты, как хлеб и воздух, и столь же незыблемы для жизни. И проступают они чаще всего без деклараций, как нечто само собой разумеющееся и всё-таки самое важное в оценке человека. Свои произведения сам писатель охарактеризовал так: «Есть такое флотское наставление, вроде устава. Как плавать вместе. Но я несколько расширил сферу его действия. Ведь все мы в совместном плавании. И берег ещё далёк».

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-6043363-1-1

© Мамин Н. И., 1964, 1966

© Издательство "Руда", 1964, 1966

# Содержание

Крохальский серпантин	6
Конец ознакомительного фрагмента.	32

**Николай Мамин**  
**Крохальский серпантин.**  
**Законы совместного плавания**

© Издательство «Руда», 2020

© Н. Н. Мамин, 2020

© Л. Д. Магонова, иллюстрации, 2020

## Крохальский серпантин

### Повесть



Все это случилось еще до войны, в верховьях Печоры, и так как большинства действующих лиц уже нет в живых, а иные бесследно затерялись на просторах Союза, я решаюсь рассказать о тех далеких по времени, но близких сердцу событиях.

Тогда я только что окончил девятилетку в Тихвине и шоферские курсы в Ленинграде, и меня тянули необжитые земли. Совсем не чувствуя себя белой вороной среди других водителей, я гонял старенький ЗИС-5, госзнак ЭХА-14-73.

Знак этот запомнился мне навечно, как имя телефонистки Шуры Король, как весь тот перепутанный и нелегкий для меня узел событий на окраинном тракте.

Пока в 39-ом году не дотянули от Чапеи до N-ска железной дороги, наша «дикая дивизия» из ста с лишним ЗИСов была на тракте Чапея – Усть-Коя единственным транспортом для нефти и попутных пассажиров.

Если кому-нибудь из нас, тогда еще очень молодых шоферов, выпадала очередь встать на профилактику или ремонт в смену Горбунова, то каждый вздыхал и морщился; если смена была Биллажа – любой из нас потирал руки.

Лицо этого легкого человека казалось отекающим из старого кавказского серебра с чернью Цвета косачиноного крыла волосы. Густая проседь в усах и навсегда аккуратно подбритых височках. Блестящие, очень черные глаза, орлиный нос.

Шоферня помоложе звала его «отче Раймонде», и – человек хотя и достаточно старомодный – он не любил этого, а когда его заглазно называли старым псом и механик узнавал о такой фамильярности, то в шутку взрывался:

– Пусть пес, но почему же старый?

Начальник всей нашей «дикой дивизии» нефтевозов Гоша Гребенщиков за глаза – в сердцах и с похмелья – звал механика «австрияком». На самом деле его звали Раймондом Фердинандовичем. Он действительно был когда-то австрийским подданным, приехавшим в Россию еще до первой мировой войны. Фактически он мог считаться одним из самых старых шоферов-механиков страны и в свое время еще, на чадающем «бенце» катал самого графа Нессельроде. Чем был знаменит этот граф, мы так и не узнали.

В цистернах, звонких, и цилиндрически круглых, как огромные консервные банки, мы возили нефть, бензин и солярку с перегонного завода на ближнюю пристань. Все 264 километра того извилистого, головоломного тракта по горам до последнего мостиками одичалой речки Кобысь и поныне снятся мне. И даже сейчас, в сорок с лишним лет, мне хочется поехать туда и пройти по этому трудному и теперь уже заброшенному тракту Чапея – Усть-Коя.

Но я знаю, что никогда этого не сделаю, потому что старый Чапейский тракт уже окаменел в памяти, и таким я его еще раз все равно не увижу.

Поселок из двенадцати жилых бараков, гаража на шесть ремонтных ям, ларька, пекарни и клуба звали Веселым Кутком. Построили его в начале 30-х годов высланные с Кубани кулаки, давшие ему и это южное легкое имя. А вокруг в три яруса громоздились горы, сначала почти черные от пихтача, потом синие, потом голубые.

Мы – рядовые шоферы – размещались по баракам, Гребенщиков с женой обитал в отдельном домике, со стеклянной верандой, похожем на пригородную дачку, а Раймонд Фердинандович жил в несуразно длинном строении, разбитом на клетушки и звавшемся «семейным сараем», в низенькой комнатке с одним окном.

На ставнях у него были вырезаны смотровые отверстия в форме сердец, и желтые, пылающие эти сердца глухой ночью были видны с тракта. Старик, если не дежурил в гараже, любил допоздна читать или возился с ремонтом автомобильных реле, карбюраторов и трамблеров.

Над полкой с книгами возле старенькой двустволки «зауэр три кольца» на стене у него висела скрипка.

Теперь, вспоминая те далекие времена, я все чаще думаю о том, что личная жизнь у «австрияка» не задалась и самой большой и скрытой его печалью была тоска по сыну – та наивная тяга к бессмертию, простительная одинокому стареющему человеку, от природы склонному к мечте.

Впервые я заподозрил это, когда на попутной цистерне к нам на Веселый приехал Сашка Кайранов.

С брезентовым рюкзаком за плечами и картонным чемоданчиком в руках спрыгнул Сашка с невысокой зисовской подножки и, положив свою немудреную кладь прямо на землю, принялся закуривать с подвезшим его шофером Володькой Яхонтовым. (Широкогрудый, синеглазый, в стареньком авиационном шлеме, Володька был похож на молодого богатыря с васнецовских картин). И сразу стало очевидно, что за перегон от Усть-Кои до Веселого они уже успели подружиться и приезжий – человек стоящий, потому что курить на тракте с кем ни попало молчаливый и гордый Володька никогда бы не стал.

Потолковав с Володькой, Сашка Кайранов выгреб из своего мельхиорового штампованного портсигара горсть папирос и протянул их шоферу; и тот, только кивнув, без слова Принял этот пустяковый, но нужный на трактовсм безлюдье подарок, пожал Сашке руку и сказал всего два слова: «Завтра оформим...»

После этого он бесшумно «воткнул» первую скорость и поехал на заправку, потому что пересмены ему еще не полагалось.

А приезжий, посмотрев вслед машине, подошел к нам, сидевшим в ряд на завалинке своего третьего барака.

Июнь уже дошел до середины, а выдался только второй теплый день, и все свободные от наряда с утра бездельничали на солнце.

– Привет городу Веселому и его жителям, – сказал Сашка так просто, словно проработал с нами всю весну. – Механика Биллажа среди вас нет?

– Нет. Он вон в том бараке живет. Третье окно, – охотно ответил кто-то из нас, вернее всего комсорг Петро Елец, самый настырный. – Издалека к нам?

– Да как сказать? Тысяч пять километров будет, – беспечно ответил Сашка и, бросив свой багаж на завалинку, пошел в сторону «семейного сарая».

А меня словно что кольнуло, хотя особенно любопытным я никогда не был. Главное, Шварц не ушел с утра в лес, и человек мог попасть в неприятность.

– Пойдите, товарищ, провожу. Там собака, – сказал я уже в спину приезжему, нашаривая босыми ногами накаленные солнцем галоши.

Раймонд Фердинандович, кроме автомобилей и вальсов Штрауса, любил собак, и его Шварц жил под столом в общем коридоре, на старом овчинном спорке.

Был это довольно угрюмого вида пес из породы чистейших сибирских лаек, широкогрудый, остроухий, в белых носочках и галстук. По нраву – природный медвежатник и нелюдим, а приезжий был первым свежим человеком за всю весну – мало ли что могло случиться?

Мы постучали в дверь механика, и после его поощрительного «ну-ну» Сашка посторо- нился и пропустил меня вперед.

Биллаж в меховых туфлях на босу ногу сидел верхом па скамейке и правил на ремне бритву. Гребенщиков был в отпуске, на курорте, и механик остался за него.

Он внимательно глянул на приезжего своими нездешними черными глазами и сказал, несколько не удивляясь:

– Знаю. Петропавловский звонил еще вчера. С утра жду.

Николай Федорович Петропавловский был нашим главным начальством. Демобилизо- ванный летчик-наблюдатель, он уже три года командовал всей автолинией и прием новых работников, от заведующего гаражом до заправщика, формально шел через его руки.

Но тут уже я все же удивился: раз об этом приезжем человеке, всего года на четыре старше меня, звонил сам Петропавловский, значит в нашем автолинейном захолустье он был кем-то необычным. Может быть, новый экономист, нормировщик или даже помнач по эксплуатации? Штаты у нас тогда были пухлые. А Сашка протянул механику записку Петропавловского и остался стоять у двери.

– Садитесь молодые люди, – как всегда вежливо, но рассеянно буркнул Биллаж и углу- бился в чтение. Лоб его сразу вспотел.

– Хорошо, – сказал он через минуту, и его всегда веселые глаза печально погасли. – Очень хорошо. Первый дипломированный инженер в наших краях. Ну что же... поговорим о замещении вами вакантного места сменного механика. Так я вас понял?

Бедный старик, конечно, совсем не хотел расставаться со своим местом, но он был горд и тактичен. А на лице Сашки Кайра-нова вдруг прочертилось столь явное беспокойство, что мне стало не по себе – настолько этот разговор не нуждался в свидетелях.

– Позвольте, Раймонд... Сигизмундович, – сказал он почему-то крайне смущенно.

– Фердинандович... – невозмутимо поправил Биллаж, и Сашка послушно повторил: – Виноват, Раймонд Фердинандович. Но, по-моему, там сказано «трудоустроить инженера Кайранова по вашему усмотрению». И штат механиков у вас уже заполнен.

– А вот я и усматриваю, что человек с дипломом автодорожного института... – чуть-чуть печально и гордо прервал его старый автомобилист, – получает... то есть должен иметь полное право... на замещение этой должности в предпочтении с другими.

В минуты волнения старина всегда несколько ошибался и путался в русском языке.

Но Сашка сказал спокойно и твердо:

– Диплом, по-моему, прежде всего, бумажка. А я хочу стать инженером-механиком по автомобилям всерьез, а не только по диплому. И буду начинать с шофера. А потому прошу вас, как договаривался и с начальником автолинии, посадить меня на машину.

Биллаж помолчал, а потом снял с гвоздика правильный ремень и спрятал бритву в футляр. Я понял, что он поверил искренности желаний приезжего инженера, и еще понял, что старик взволнован.

– Молодой человек, я верю вам, – так и сказал он по-старомодному учтиво и чуть-чуть напыщенно. – Я привык верить людям на слово и поэтому не сомневаюсь в искренности ваших намерений. Правильных намерений, черт возьми! И на нашем тракте вам будут все возможности стать шофером-механиком не только на словах... и на бумаге. Поскольку я оставлен за начальника колонны, будем говорить о деле. Права водителя у вас есть?

Сашка молча достал из нагрудного кармана книжечку шоферского удостоверения и протянул механику. Тот открыл ее, и на его лице отразилось ироническое недоумение.

– Странно, и не хотелось бы впасть в крайность, но должен сказать, что вы меня... дурите, – протянул он, хитро прищурясь, и возвратил книжечку Сашке. – О какой стажировке идечь речь, раз вы, согласно этим коркам, ездите за рулем уже больше двух лет?

– Раймонд Фердинандович, поймите меня правильно, – все так же вежливо и твердо возразил новичок. И я опять подумал, что его язык отличается от нашей небрежной и разухабистой речи окраинных шоферов. – Я для начала хочу стать настоящим шофером и настоящим механиком, а для этого и пяти лет за баранкой мало. Словом, если вы не возражаете, я бы пошел в сменщики к Владимиру Яхонтову. Он говорил, что ему ставят трубовоз, и это меня... устраивает.

Тут Биллаж высоко поднял свои черно-серебряные брови – еще бы! – трубовоз с его фактически полуторной ставкой кого-то бы ни устроил! Но гордец и мастер своего дела, Володька, не подобрав подходящего сменщика, с личного разрешения Петропавловского работал один уже третий месяц, выполняя плановое задание и за себя и за отсутствующего напарника.

Легкая краска залила Сашкины щеки. Он, видно, понял сомнения механика.

– Я, видите ли, не побив рессор, провел цистерну Яхонтова от Усть-Кои до, вашего автогородка, – сказал он сдержанно, и лицо его стало замкнутым. – И Яхонтов прямо сказал, что ему надоело тянуться за двоих. Словом, он берет меня в сменщики.

Тракт еще по-весеннему пучило в низинах, и провести «бочку», не побив ни одного рессорного диета, человеку «с ветра» было действительно мудрено, но я своими глазами видел, как Яхонтов простился с приезжим за руку и взял у него горсть папирос, а старик Биллаж, как видно, уже поверил в Сашку и не увидев этого.

– Ну что же, если общий язык найден, быть по сему, – уже примирительно сказал он и впервые за весь разговор доверительно усмехнулся: – У Яхонтова сложный характер, но шофер он, как в старину говорили, милостию божьей. Рад за вас!

На этом кончилось их первое знакомство, и я повел Сашку Кайранова в общежитие, где жил сам и где стояла койка его нового сменщика. Повел мимо Шварца, дремавшего в коридоре: он даже не приоткрыл глаз и не поднял на нас своей остроухой головы.

Теперь, когда с того июньского утра минуло более четверти века, я могу сказать совершенно открыто – ни одной живой душе на Веселом я не рассказал об этом щекотливом разговоре Биллажа с Кайрановым, но к вечеру весь поселок уже о нем знал.

Не иначе Раймонд Фердинандович сам не поспешил на яркие краски, характеризуя инженера Кайранова, готового работать рядовым шофером.

В тот вечер Васярка Доган, задумчивый украинец и мой вечный напарник, припозднился с пересменной, и к закату я вышел на тракт с уже выписанной на себя путевкой, чтобы не терять лишних минут, когда Василь подъедет. Там меня и нашел второй механик колонны Григорий Иванович Горбунов, генеральского вида пожилой брюнет с окладистой бородой и насмерть прикипевшей к нему кличкой «пластырь». Прищурился свои шоколадные глаза и посасывая трубку в виде головы Мефистофеля, Горбунов спросил меня с особым значением:

– Ты, Николай, был при разговоре новичка с Биллажем?

– Ну и что из того? – ответно спросил я, не особенно-то доверяя клейкому языку Григория Ивановича.

– Толкуют, что его прислали к нам сменным механиком и на мое место, а он сам, не имея достаточной практики, отказался. Но может ли быть такая совестливость и тому подобное в наше время? Что-то тут...

– Совестливость у рабочего человека и именно в наше время быть может, – витиевато, от желания поддеть «пластыря», огрызнулся я. – А вы об этом, Григорий Иванович, всегда забываете.

– А ты меня, пожалуйста, для вступления в комсомол не агитируй. Года мои для такого шага уже не подходят, – скучно попросил Горбунов. – Я спрашиваю о деле, и ты, будь добр...

Но тут, вывернувшись из-за горы, запыхал на спуске Васярка Доган, и я ушел от привередливого и мнительного механика.

Много всякого пришлого люда крутилось тогда на нашем коротеньком тракте, и Горбунов со своим ироническим прозвищем был одним из самых неприятных. И не то, чтобы он был нечестен или ленив, или особо придирчив по работе. Просто в нашей, на две трети, молодежной, колонне был он уж слишком инородным и не поддающимся переработке телом.

А северная весна стремительно и споро шла по черной, заболоченной, поросшей в низинах пихтовой и лиственной тайге, по которой невысоким окаменевшим молом проходил наш тракт. Страстное придыхающее воркование пальников и диких голубей наплывало из леса. За одно утро разжала свои клейкие младенческие ладошки листва на березах. Прямо из-под снега, осевшего на голубых мхах, уже проклеивались мохнатые клювики первых медунок и по берегам таежных ручьев накаливались под солнцем голые черепа валунов. Хорошо было при надежном движении и тормозах гнать свою трехтонную железную «бочку» с нефтью с севера на юг навстречу весне, и в каждом стрекочущем на пашне челябинце или харьковском колеснике, черным жуком ворочающемся в только что обсохшей борозде, чувствовать своего дальнего родственника. Ведь именно нашей нефтью и жила посевная.

Даже короткие и такие незаметные зимой надписи в диспетчерском журнале: на левом листе «на юг» и справа «на север» – читались сейчас заново, как откровение, – мы словно воочию начинали различать великую округлость родной земли и небес над ней. Жизнь шла по стремительному, гудящему моторами кругу, и земля была круглая, и по ней скатывались вниз, к югу, и карабкались вверх, на север, наши ЗИСы.

Теперь, пожалуй, пришло время сказать и о телефонистке Шуре Король.

Телефонную линию вдоль всего тракта Чапея – Усть-Коя обслуживали в те годы телефонистки местных узлов связи и полевые батарейные установки УНА-Ф.

Если говорили два населенных пункта, то и все остальные абоненты, «вышедшие» на линию, могли, подняв трубки, слушать любой их разговор. Высокочастотная связь нам в этом таежном захолустье тогда еще и не снилась.

Еще месяца за три до приезда к нам в Веселый Куток Сашки Кайранова заскочил я как-то на «телефонку», помещавшуюся в одном бараке с диспетчерской.

Дежурила жена начальника колонны Лидия Алексеевна, добродушная, бездетная и вальяжная красавица из коренных сибирских украинок. Женщина, она была очень общительная. Но на этот раз, лишь только я неосторожно стукнул дверью, ее большие глаза, черные и круглые, как перезревшие владимирские вишни, сверкнули так гневно, что я опешил.

– Тш-ш, медведь! – шикнула на меня Лидия Алексеевна и погрозила телефонной трубкой, отняв ее от уха и тут же прижав к нему снова. – Шура поет...

Ничего не поняв, я попятился задом к двери, но Лидия Алексеевна, уже отойдя сердцем, протянула мне черную трубку с нажимным клапаном и быстро сказала:

– Послушай, малец. Не хуже Руслановой.

Я, подойдя на цыпочках, осторожно взял из ее рук теплую трубку и поднес к уху. Что-то неимоверно ласковое и взволнованное происходило в этой черной потертой руками многих людей пластмассовой трубке.

*– До свиданья, – мильй скажет,  
А на сердце камень ляжет... —*

пел глуховатый, грудной женский голос. И от этого приглушенного контральто мне вдруг стало страшно от предчувствия чего-то, так остро входящего в душу, – столько тоскующего человеческого чувства и тепла было в этом необычном голосе.

– Вот. Вся линия слушает! – торжествующим шепотом сказала Лидия Алексеевна и потянулась рукой к трубке, но лицо у меня, наверное, стало таким испуганным, что она опустила руку и с доброй завистью вздохнула: – Ведь дал же бог такой дар девчонке!..

Мы то попеременно слушали Шуру, передавая трубку друг другу, то садились рядом, наклонив головы к этой положенной на стол поющей трубке. Мы слушали Шуру до тех пор, пока чей-то резковатый, металлического оттенка бас не сказал властно:

– Уйдите с линии. Все. Оперативная. Сию же...

– Опять на двадцать шестом что-то натворили, – вздохнув, прошептала Лидия Алексеевна, бережно положила трубку в полированное гнездо аппарата и устало закрыла глаза.

– Какая она... эта Шура? – только и спросил я, и телефонистка, обычно говорившая чисто по-русски, все еще не открывая глаз, слабо усмехнулась:

– Думаю, що гарна дивчина. У дурнушки хйба такой голос бывает? Ни, дурнушка так дуже спивать не може.

В следующее Лидино дежурство, когда мой «зисок» стоял над смотровой ямой и слесари меняли лопнувший коренной лист передней рессоры, Шура опять пела. На этот раз какой-то старинный романс, а я опять околачивался на телефонке.

После романса я не выдержал, и как только Шура замолкла и по всей линии над трубками сухо и уменьшено расстоянием защелкали аплодисменты, сказал совершенно неожиданно для себя, деревянным от волнения голосом:

– Спасибо вам, Шурочка. Эх... вы бы в консерваторию шли!.. Честное слово!

В трубке приглушенно засмеялись, и этот смех, открытый и ласковый, поразил меня еще больше, чем контральтовый разлив романса – так и стояла за ним доверчивая и светлая девичья душа, еще не разучившаяся, не раздумывая, откликаться на каждое доброе слово. А может быть, просто в моем голосе, несмотря на его связанность, слишком ясно звучало восхищение.

– А кто это говорит? – помолчав, заинтересованно спросила черная трубка, вдруг потерявшая для меня все свои казенные свойства.

– Да никто. Так. Шофер.

И опять ласковый воркующий смешок обжег мое ухо:

– Странно! Мне казалось, что все шоферы такие самоуверенные, а вы «никто». Или это... из гордости?

Нет, я никогда не был ни излишне скромным, ни самоуверенным и гордым до того, чтобы притворяться тихоней. Просто Шурино голос еще звучал в моих ушах.

Под ласковую усмешку Лидии Алексеевны, смотревшей на меня с почти материнским сочувствием, мы проболтали о всяких пустяках до тех пор, пока нас не прогнали с линии какой-то бесконечной сводкой о готовности тракторного парка к посевной.

Но среди всех пустяков я услышал и главное; Шурино дежурство кончается в ноль часов, и идти ей через весь поселок, к самому нефтеперегонному заводу.

Поблагодарив Лидию Алексеевну за покровительство, я бегу в гараж. Сумерки уже вплотную насунулись на впадину Веселого Кутка и затянули ее густым сизым дымом. Слесари затягивают последнюю рессорную стремянку. Еще две минуты – и можно съезжать с ямы.

До Чапеи от Веселого – шестьдесят один километр и шесть десятых, по спидометру – меньше двух часов горной езды. Шура сменяется через два часа восемнадцать минут. Все ясно.

Я спешу в барак за брезентовкой и на все лады приговариваю любимое слово Биллажа – «Ап-тека!» – означающее высший класс точности. Все яснее ясного. Я уже целиком во власти этой стремительной жаркой воронки одного желания – увидеть Шуру.

И вот мой отдохнувший ЗИС, «старый Захар» в шоферском просторечье, выехав за ворота гаражного двора, с ревом лезет в гору, и одуревший от света зайчишка мечется в белом луче фар перед самой машиной. Но я бережно объезжаю растерявшегося зверька и снова с наслаждением жму правой ногой на железный грибок акселератора. Мотор прекрасно понимает каждое мое движение. Он умеет платить добром за добро.

Побелевшая под неистовым светом фар дорога разверткой огромного рулона сама катится навстречу, и пернатые сосны стоят по обе ее стороны совершенно плоско, словно разрубленные этим белым световым мечом. И тут происходит чудо: никогда не виданная мною девушка входит в эту, в сущности, совсем неказистую, мрачноватую северную тайгу, и чапыга обок тракта преобразается: деревья кажутся стройнее, выше, хвоя на них вспыхивает каким-то игольчатым свечением, и самый обычный пихтач напоминает точеные колокольни.

Все совсем не такое, как днем, и даже воробьиная река Крохаль лежит под месяцем, под звездами, где-то глубоко внизу, изогнутым блестящим клинком.

Я жму и жму на железный грибок, и мост через речку грохот-но и гулко сам бросается под колеса машины.

Нога, грибок, скорость. И время от времени мечущиеся в белом луче, замороженные им, зайчишки, которым я всегда даю уйти в кювет, потому что Шура, ее голос, смех и любое зло – несовместимы.

Когда с последнего увала, словно незалитое кострище, открывается россыпь огоньков поселка Чапеи, мне вдруг становится не по себе – как же я скажу Шуре, что я и есть тот самый шофер, который аплодировал ей по телефону?

Но уже посеребренные цистерны заправки возникают в белом конусе света моих фар, справа проносится неуклюжий лабаз леспромхозовского гаража, и за невысоким заборчиком светятся большие окна телефонки.

Эх, давно ли вся Чапея, теперь главный штаб нефтедобычи и районный центр, умещалась в полудюжине домиков над мелководной речкой?!

Заглушив машину, я берусь за шеколку калитки, и сердце бьется у меня где-то в ключицах.

Небольшая строгая девушка поднимается от телефонного коммутатора, напоминающего иконостас, – столько на нем блестящих крышек. На шее у девушки, перед самым ртом, черный рожок переговорного гарнитура, светлые волосы схвачены обручем наушников, в глазах недоумение, но испуга не видно, и я тоже смею.

- Вам кого? – спрашивает она уже знакомым мне голосом.
- Вас, Шура. Я тот самый шофер.
- Боже мой, какой шофер?
- Тот, с Веселого.

Вид у меня, вероятно, такой преданный и виноватый, что Шура улыбается. Но в это время отпадает одна круглая крышечка на фасаде коммутатора и становится видно черный номерок абонента.

Шура, сразу служебно построжав, воткнула под него длинную вилку штепселя и готовно отозвалась:

- Четвертый.

А у меня от ее глуховатого грудного голоса на сердце снова забродила самая пенная брага, и я уже не сразу могу сообразить, что к чему.

– Вот вы какой... шофер! – словно из-за тридевяти земель слышу я и с трудом понимаю, что обращаются ко мне. – Но ведь сюда нельзя заходить посторонним. И потом, кто подтвердит что вы – это вы?

В ее темно-карих, почти черных глазах мелькают озорные искорки.

А я все также оглушено смотрю на ее тонкие бровки, изломаннее и подвижные, как стрекозиные усики.

– Да Гребенщикова и подтвердит, – спохватываясь, говорю я, облегченно вспомнив, что все телефонистки линии знают друг друга хотя бы по голосам.

И Шура сквозь смех кричит в свой лакированный рожок-гарнитур:

– Веселый, Веселый! Лида, ты? А он какой? Да Коля этот? Сероглазый? Волосы какие? Во-ло-сы? Владимир-Ольга-Лидия-Ольга-Семен-ыы! Ах, курчавые? Спасибо, Лидочка! Почему спрашиваю? Да здесь он. Вот стоит.

– Скажите ей, пусть в переговоры подскажет – у меня спустила резина под горой Пионер, – быстро шепчу я, пока Шура, улыбаясь, слушает Лидию Алексеевну. И она в точности повторяет мои слова, и веселое заочное братство всех ночных тружеников автолинии: диспетчеров, телефонисток и просто вольных слушателей от скуки – принимает под свою озорную защиту мою уж не так-то и грешную ложь, потому что шестьдесят километров я все-таки промахнул вне всякого графика технических скоростей.

– Значит, я жду у ворот в машине и отвезу, вас домой, – осмелев, говорю я, и Шура, продолжая втыкать змеиные головки штепселей под отваливающиеся медали крышек, молча кивает. Знакомство состоялось уже не только на проводе, и она даже заметила, что у меня курчавые волосы. Это совсем неплохо.

Столкнувшись в дверях с другой девушкой, вероятно, сменщицей Шуры, я бегу к машине, а радио на крыше районного дома культуры поет залихватски, лукаво-веселым тенором на всю страну:

Капитан, капитан, улыбнитесь.  
*Ведь улыбка – это флаг корабля...*

Удивительные песни иногда сочинялись в моей молодости, словно все сложные вопросы бытия уже навечно разрешены и жить можно ни о чем не грустя и даже не заглядывая в завтра. И как мы им верили, этим нарядным и чаще всего по-настоящему музыкальным, даже талантливым песенкам!..

Но тогда мне было даже не до этих песен.

Ну вот и посудите, как же я теперь, четверть века спустя после той июньской ночи, в обычном скором поезде на плацкартном месте смогу поехать в ставшую каменной многоэтаж-

ную Чапею? А ну, как чудом уцелели те три сосенки и сама телефонная станция под ними? Как же больно ушибется об них сердце!

И где теперь та снулая речка Лежма, вдоль которой мы впервые ехали с Шурой на моём выдавшем виды «старом Захаре»? Где серый бетонный форт первой ТЭЦ, самая крупная постройка тех лёт в деревянном поселке нефтяников, геологов, шоферов?

Ночь была лунной и торжественной, словно отгиснутой на зеленом серебре к какому-то знаменательному юбилею. Она была такой тихой, что даже Большая Медведица, уже сползшая хвостом по небосклону, отражалась в спокойном плесе, и отработавший тэцовский пар вздыхал шепотом.

Шура сидела молча, да и ехали мы, собственно, не больше пяти-шести минут, и только под конец, у самого дома, она сказала негромко и по-детски восхищённо:

– А вы здорово ездите!

– Но не лучше, чем вы поете, – сразу, хотя и не ахти гладко, нашелся я.

Шура только насмешливо поморщилась и пренебрежительно махнула тонкой рукой.

– А! Бросьте!..

Но я уже решил, что на эту тему она должна разговориться.

– А вы мне не скажете, кто написал слова к тому романсу, который вы исполняли? – сразу же взяв тон глубокомысленного любителя пения, спросил я.

– Никто. Романс безымянный, – вздохнув, сказала Шура и вдруг рассмеялась, а я, вспомнив свое первое представление ей по телефону, засмеялся тоже. Но тема требовала не только смешков.

– Не может быть, – сказал я как только мог солидно, – покопаться – и обнаружится либо Пушкин, либо Лермонтов. Слова-то какие!

– Нет, именно слова так себе, но чувства много... – задумчиво не согласилась Шура и просительно тронула мой локоть: – Остановитесь, пожалуйста. Мы приехали.

Милые годы! Я тогда совершенно искренне полагал, что с девушками при первом знакомстве надо говорить только о вещах значительных и умных.

Мы простились за руку, и сердце подсказало мне, что не надо выходить из кабины, чтобы сразу не отпугнуть Шуру. Я тут же лихо развернулся, чуть не засадив передок в канаву, и поехал обратно к ярко освещенной зоне нефтеперегонного завода, дышавшего в ночь тяжелым запахом мазута.

Но для меня в ту ночь и самый тяжелый мазут, казалось, припахивал то ли резедой, то ли левкоем, и я, даже не проверив правильность налива, расписался в накладной.

Снова в свете фар разматывался серый рулон шоссе и по нему, обезумев, скакали плюшевые зайцы, а я тормозил перед каждым.

Рассвет застал меня уже за Кобысью, и тоненькая березка зеленым облачком повисла над одним из бесчисленных тянигусов<sup>1</sup>, и это тоже было похоже на веселое чудо – деревцо росло в воздухе, как бы без ствола, на честном слове.

Вот так он и начался в моей жизни тот незабываемый третий квартал тридцать седьмого года, навсегда сросшийся в памяти с телефонисткой Шурой Король и тяжеловозником Сашкой Кайрановым.

На Веселом уже доцветала черемуха. Густой клейковатый настой ее запаха бесстрашно перебарывал все едкие гаражные примеси, и даже бензиновый перегар был бессилён в единоборстве с облаками мелких белых цветиков, пеной заливавших окрестности гаражного двора и все его почерневшие, проавтоленные заборы.

---

<sup>1</sup> Пологий подъём дороги (сибирск.)

Кукушки в сосняке на ближней горе, не пугаясь вечного грохота обкаточных стенов и воплей электросигналов, по капле роняли мелкое серебро своих тоскующих вскриков, и казалось, сама тайга, как старинные дедовские часы, отсчитывала и отсчитывает нам время.

Биллаж сдержал слово – полный практический курс тарирования жеклеров и пружин реле, а также переборки пластин аккумуляторов для начала преподал он Сашке, а заодно и мне, понявшему, что возле их содружества можно подучиться.

Всеми своими книгами и учебниками по автоделу и электрике он разрешил нам пользоваться совершенно свободно. Если за его смену попадался какой-нибудь особо интересный или кляузно-головоломный ремонтник, а Сашка не был в рейсе, то старик обязательно посылал за ним в барак кого-нибудь из гаражных слесарей своей смены. Сашка приживался у нас непритворливо и споро, как выкопанный весной калиновый куст на новом черноземе. Все в бараке как-то очень быстро привыкли не горлопанить, если Сашка сидел за столом над справочником Шютте или комплектами «Автомобиля», своими вечными спутниками даже в рейсе. Он явно нас облагораживал и тянул за собой, а меня ответно все больше тянуло к этому молчаливому человеку с лицом и руками интеллигента и совсем незаурядной шоферской хваткой и выносливостью.

Но большой мир жил вовсе не по нашим кукушкиным часам. Где-то в далекой Испании уже во всю полыхал франкистский мятеж, Чкалов с Байдуковым и Беляковым рекордно быстро перелетели через полюс в Америку. Все конструкторские бюро мира, в том числе и наши, были заняты разработкой новых марок танков и истребителей, а мы возили свою нефть, бензин и солярку, а обратными рейсами, чтобы не гонять машины порожнем, везли овес, цемент, бочки с автолом и треской и железные барабаны каустической соды. Под эти непритворливые грузы без экспедиторов Петропавловский приказал набить специальную обрешетку вокруг Цистерн, и наши «старые Захары» так раздались вширь, что при разъезде со встречными машинами зевать не приходилось. Так оно и шло, день за днем: рейс, пересмена, отдых и опять рейс.

...Я проснулся от тугого звонкого удара по земле чем-то металлическим и полым, отголосок которого еще протяжно гудел в утреннем воздухе. Пока я спускал босые ноги с койки, кто-то сбросил цистерну.

Койки Кайранова и Яхонтова были уже застланы, подушки взбиты и положены совершенно одинаково: пышным белым ромбом.

Я, как был, в трусах и майке, выскочил во двор. Солнце, тусклое от лесного пала, только на одну треть всплыло над коньком гаражной крыши. Оно было блеклого цвета отожженной латуни, и глаза легко выносили его розоватый блеск.

Возле оголенной яхонтовской машины, без цистерн, напоминавшей огромного муравья с наполовину оторванным туловищем, роился народ. В толпе мелькали сдвинутая козырьком назад кепка Биллажа и Володькин строгий кожаный шлем. Сашка Кайранов стоял одной ногой на подножке, держа другую на педали газа, а руки – на баранке руля.

– Раймойд Фердинандович, к которому? – кричал он, покрывая звонким голосом ворчанье мотора, и на лице его было выражение самого беспечного наслаждения жизнью, трудом, поднимающимся солнцем.

И что ему так понадобился этот тяжеловоз? Ну пусть полуторная, пусть даже двойная ставка, но, в случае дождя или гололеди, один Крохальский подъем выпьет литры крови, а то и загремишь длинным хвостом вперед, под обрыв. Но Сашка, продолжая счастливо улыбаться, спячивал оголенную машину задом вслед за механиком, а Биллаж своей легкой походкой мальчишки уже спешил в дальний угол двора, где, оперев свои железные дышла в землю, стояли автоприцепы. Механик все так же вприпрыжку обошел их короткий ряд, поколотил гаечным ключом каждый по оси, по скатам и велел Сашке ехать к крайнему слева.

– На этом шесть повезешь, – сказал он уверенно, когда Сашка подъехал к облюбованному им прицепу.

– Десять, Фердинандович, и ни грамма меньше! – весело отрубил Сашка, и Биллаж погрозил ему ключом.

– Молчи, мишигенер копф!

Мы не сразу поняли, что речь идет о тоннах и что это тускло-солнечное утро для нашей колонны станет историческим. Ведь возили тогда на ЗИСах от силы три тонны в кузове и пять на прицепе.

Потом слесари и все добровольцы-болельщики, в том числе и мы с Петей Ельцом, на руках поднесли к машине переднюю «подушку» с железными рогами стоек и стали крепить ее на платформе, уже настланной плотниками поверх ланжеронов. Биллаж и Сашка, подняв капот над мотором, о чем-то вполголоса препирались, гоняя мотор на разных оборотах; верно, проверяя его «преемистость» или решая, не заедает ли заслонка дросселя. Я впервые заметил, что и спорит-то Биллаж со своим новым учеником не как с прочими шоферами, а лишь вполголоса.

А через полчаса Володька Яхонтов на переоборудованной машине уже выезжал со двора, чтобы порожним гнать тяжеловоз до самой Усть-Кои, где на железных баржах его ждали вороха обсадных труб для тяжелого крелиусного бурения.

Мы же с Сашкой только было легли досыпать, как в наш барак заявился сдавший смену Биллаж и с ходу, прямо от порога, начал нас укорять и перевоспитывать:

– Стыдно, молодые люди! Более того: грешно! – сказал он высокопарно и язвительно. – Спящий в такое утро уподобляется трупу. Пошли лучше для физзарядки в лес. Посмотрим, знаете что? Землянику! Она вот-вот покраснеет.

– За вас, Раймонд Фердинандович! Нельзя же в ваши почтенные лета быть таким, простите, попрыгунчиком, – сердито сказал Сашка уже нарочито сонным голосом и повернулся к механику спиной...

– Пхе, что ты понимаешь в летах, Сашенька? По душе мы ровесники, Нет, я даже моложе тебя, птенчик, – беспечно засмеялся «отче Раймонде» и принялся любовно щекотать Сашкины пятки. – Кроме всего, я имею намерение продолжить разговор о камере сжатия.

И тут Сашка сразу сел на койке и потянулся к табуретке за брюками. Я тоже вылез из-под своей грубошерстной и колкой «солдатчины» и стал обуваться.

Через пролом в заборе мы спустились к речке и, разувшись, распугивая черноспинных хариусов, стоявших носом к течению, форсировали ее вброд. Причем неугомонный старец полез в воду первым.

Тайга в лиловой дымке недалекого пала приняла нас в свою пропахшую хвоей и прелым листом смородины душную тень. День обещал накалиться никак не ниже тридцати по Цельсию.

– Так вот, майн хайльгер херц, тебя заносит, – видно, продолжая свой спор над откинутым капотом, серьезно сказал Биллаж, – подпиленная, то есть уменьшенная, камера сжатия уже не камера, а шкатулка с любыми неожиданностями.

– Ну, это-то как раз можно рассчитать, – улыбаясь, не согласился Сашка. – Для цифр неожиданностей не бывает. Зачем же сжимать ее до того, что вырвет шпильки? Если увеличить мощность сил на двенадцать, то десять тонн «Захар» потянет, как миленький. В любой Крохаль.

– Я же сказал – мишигенер. Зачем тебе десять тонн? – страдальчески вскрикнул Биллаж.

– И это можно рассчитать. Во-первых, неиспользованные возможности конструкции тут налицо. Во-вторых, мне нужны деньги. Не воровать же я их стану? – отдельно и очень жестко сказал Кайранов, и меня поразило совершенно новое выражение его лица. Так мягко очерченные его губы вдруг словно взяло в скобки резких морщинок, обозначившихся по обе стороны рта, а синие глаза глянули непреклонно.

– Тьфу! Этого я от тебя никак не ожидал, Александр Петрович, – обиженно вздохнул механик, а я в растерянности не нашел ничего лучшего, чем сказать прописную банальность:

– Эх, в деньгах ли, Саня, счастье?

– Не счастье, а нужда. Горькая нужда, мужики. Понятно? Нет? – сразу опять черствея лицом, отрезал Кайранов.

– Понимаю. Он думает жениться и завести собственную ЭМ-1, – насмешливо догадался Биллаж, и его неистовые, почти испанского накала глаза погасли: меркантилизма, такой заземленности он, конечно, не мог простить своему любимому ученику.

– Глупости, и совсем не по адресу, – сухо вато оборвал старика Кайранов и показал нам три отогнутых пальца: – У меня три брата, семи, девяти и тринадцати лет, и еще сестра шестнадцати, и больная мать. Ясно?

В голосе Сашки было столько сердитой горечи, что добряк Биллаж остановился, даже не перенеся ногу через замшелую колодину, попавшую на его пути.

– А отец?

Сашка с хрустом сломал какой-то прутик, который до этого вертел в руках, и бросил его обломки в разные стороны.

– Ас отцом... авария, – сказал он тускло.

– Он тоже шофер?

– Нет. Он военный. Был военным. Командовал бригадой.

– А-а-а, понятно, – только и протянул Биллаж, но мне тогда показалось, что он также, как и я, абсолютно ничего толком не понял.

Мы прошли несколько шагов молча. Дорога круто забирала в гору, и идти по непрошенной, заваленной буреломом тайге было трудно.

– К черту такое Туапсе! – отдуваясь и вытирая пот, вдруг сердито сказал Биллаж и, помолчав, повторил: – К черту землянику! Она еще зеленая. Поваляемся на травке, молодые люди.

Мы улеглись на влажновато-теплый мох в ряд: Биллаж посередине, мы – по краям. Старики прикрыли глаза, и его смуглое нерусское лицо показалось мне особенно осунувшимся и усталым. Как-никак до этого он отдежурил сутки, и в гараже все время было «завозно».

Прямо над нами парил большой ястреб, и потому, как его несло в синеве, можно было проследить все токи воздушных течений.

– Так как же, Раймонд Фердинандович, я спилю головку? – негромко спросил Сашка и покосился на насупленные брови механика.

– Черт с ней! Сделай расчет сначала, – неожиданно ровно ответил механик и открыл глаза: в них, блестящих и черных, вспыхивало что-то очень ласковое и печальное.

– Спиливай, Сашенька. Ничего другого не придумаешь. Да-с. «И невеста зарыдает, и задумается друг», – внезапно прочел он чьи-то неизвестные мне стихи и опять, прикрыв глаза синеватыми веками очень усталого человека, пробормотал шепотом почти про себя:

– Значит четверо – и лесенкой, мал мала меньше?

– Ну, это-то еще полгоря, – тоже уже совсем другим тоном, доверчивым и печальным, отозвался Сашка. – Главное, плохо то, что мать прихварывает. – Он повернулся на локте к Биллажу и закончил с легкой дружеской укоризной: – А вот за одно я бы мог на вас и обидеться, Раймонд Фердинандович.

– Догадываюсь, – подавленно буркнул механик. – Но откуда же я мог знать? Ведь речь-то о деньгах шла, а уж раз деньги замешаны...

– И деньги всякие бывают. Но как вы могли подумать, что лично мне сами по себе могут стать так нужны деньги? Да что же я...

нищий, что ли? Тьфу! – не слушая и не принимая в резон признания своей вины Механиком, поморщился Сашка и снова повалился на мох.

И как раз в эту минуту где-то совсем близко вскрикнула кукушка и старательно, плавно начала отсчет своих серебряных звонких капель.

– Александр, считай, сколько тебе положено жить на белом свете, – шепотом предложил Биллаж, и так же шепотом ответил ему Сашка:

– Почему это именно мне считать? Считайте уж вы за себя, коли охота есть.

Биллаж ухмыльнулся.

– Э, я и так знаю – долго не проживу. Время не за стариков. Оно за вас, быстротекущее время. Шесть, семь, восемь...

Он досчитал до ста, уважительно чертыхнулся, а потом, на сто десятом замолчал, верно, смиренный солнцем, смоляной духотой тайги и бессонной ночью.

А кукушка продолжала колдовать, монотонно, негромко, через равные паузы, опять напоминая старинные часы, у которых что-то случилось с заводом, и они открикивают за неделю подряд. И никто из нас тогда не подумал, что далеко не все в это раннее и уже нестерпимо душное утро было только шуточным. Но как же можно было бы вообще жить на свете, если бы не существовало тайны грядущего?

Так оно и прошло, то утро: куковала незаметная крапчатая птичка, распластавшись висел в небе над начни ястреб, да едва заметно всхрапывал побежденный жарой механик Биллаж.

Ночью меня разбудил загрохотавший под окнами мотор – кто-то поленился идти от ворот пешком за сменщиком и подогнал машину к бараку. Поругиваясь, я сел на постели и сразу увидел, что Сашкина койка пуста и даже не помята.

«Понятно, не иначе опять со стариком колдуют», – решил я и, вспомнив их утренний разговор об уменьшении камеры сжатия, стал искать под койкой сапоги. Эксперименты над камерой сжатия занимали меня в то время не меньше нашумевшего фильма «Человек-невидимка».

Я нашел Сашку в пустом и полутемном гараже за слесарным верстаком у задней стенки. В одной насквозь пропотевшей майке, со слипшимися от пота волосами он, как приговоренный, гонял взад-вперед по перевернутой и зажатой в тиски головке блока тяжелый круг карборундового точила. Под яростным светом лампочки, низко опущенной над верстаком, блестела россыпь мельчайших опилок, и карборунд под Сашкиными руками скрипел, как мельничный жернов, пущенный вхолостую.

– Это как понимать? Изобретательство? Или конструирование? – спросил я, постояв за его плечами.

Сашка вздрогнул от неожиданности и обозвал меня почти непечатно.

– Кустарщина, а никакое не изобретательство, – сказал он все еще сердито. – На станке бы за час снял а тут суток трое потеть придется. Нет, трое мало. Меньше пяти ночей не уложишься. Ну чего, спрашивается, тебя принесло?

– Выспался, вот и принесло. Любопытно все-таки. И намного мощность прибавится?

– На сколько нужно, на столько и прибавится. А любопытному в театре нос прищемили, На, потри лучше, раз пришел.

Сашка скупно усмехнулся, и стало ясно, что он рад моему приходу – все-таки карборунд по стали ходил достаточно туго, а на мой язык Сашке, казалось бы, можно было положиться.

Я, не говоря ни слова, снял пиджак и, закатав рукава, взялся гонять точило по всем плоскостям «экспериментальной головки».

\* \* \*

А мое увлечение Шурой Король уже подходило к своему зениту.

Влюблен я был совершенно показательно, и еще дивно, как за все лето ни разу не опрокинулся со своей железной бочкой в кювет.

В редкие минуты, когда мне удавалось осилить и как очень тугой реостат выключить свою вечную мечту, я сомнительно присматривался к желтоватому и пыльному ветровому стеклу – не отпечаталось ли на нем Шурино личико в обрамлении блестящего обруча с телефонными наушниками, – так постоянно было там его место между щеточкой снегоочистителя и прозрачной маркой завода оргстекла.

На телефонке, никем не охраняемой и очень провинциальной, я стал совсем своим человеком. И если не был в рейсе или на ремонтной яме, то, с попутной цистерной добравшись до Чапеи, на ходу спрыгивал у белого домика за тремя сосенками и честно высиживал с Шурой чуть ли не каждое ее восьмичасовое дежурство. Она меня ни разу не прогнала, так как вел я себя совсем по-рыцарски, скромно.

С металлическим шорохом отваливались никелированные медальки крышек на номерах коммутатора, Шура втыкала штепсель в гнездо под номер и неизменно говорила только одно слово:

– Четвертый! – свой порядковый номер телефонистки. Изредка она беззлобно спорила с особо нетерпеливыми абонентами. Я же, совершенно выпав из времени, сидел на обитом потрескавшейся клеенкой диване и до ряби в глазах смотрел, как вздрагивают завитки светлых волос на ее тоненькой и нежной шее, или вполголоса читал ей, автоматически орудовавшей своими штепселями, захваченную с собой книгу. Когда в немногословной работе телефонистки наступало затишье, Шура садилась рядом, и мы читали книгу вместе, каждый про себя.

Так мы, то вслух, то голова к голове, прочли «Пармскую обитель» и уже дочитывали «Как закалялась сталь».

А еще Шура пела – вполголоса, оградив рожок переговорного гарнитура ладонью, пела, как в черную воронку, – для всей автолинии.

Но мне уже казалось, что автолиния со всеми ее телефонистками, диспетчерами и прочими «вольными слушателями» из всякого автолюда тут ни при чем, и поет она только для меня.

Это было и радостно до стеснения в сердце и все-таки недостоверно, как сон под утро, когда уже ясно, что это сон – ведь сидела-то Шура всегда ко мне спиной, а я стеснялся встать и посмотреть ей в глаза.

Но я был еще очень молод и всякие лирические чувства так распирали мою грудь, что без прямого объяснения тут было не обойтись.

Не надеясь на слова, я и на этот всерешающий раз принес с собой книгу, заранее отчеркнув нужное место.

Книгу эту я нашел на полке у Биллажа в стопке старых комплектов «Автомобиля». Обложка и заглавный лист у нее были оторваны, и я так и не узнал тогда ни автора, ни названия этой удивительной повести о мученической и трагичной судьбе ее семерых героев.

На телефонке было тихо – до того тихо, что шум одинокой мухи, застрявшей между стеклами ярко освещенной рамы окна, казался значительным и грозным. Шел второй час ночи. Абоненты спали.

Шура; еще минут сорок назад выдернув последний штепсель, с размаху плюхнулась на застонавший гнутыми пружинами диван рядом со мной и счастливо засмеялась.

Я держал перед собой открытую книгу и от волнения не видел ни единой строчки.

– Хорошо! – с чувством сказала Шура и, блаженно закрыв глаза, выбросила вперед руки, словно готовясь к прыжку в воду. – И главное, знаете, что в нашем знакомстве хорошего? Не знаете? Ну, я скажу. Впрочем, не стоит. А что это вы читаете?

Наше чуть-чуть деланное «вы» ни одного из нас не смущало, наоборот, как бы придавало всему тон особой строгости. Я молча подсунул ей потрепанную книжицу с отчеркнутым красным карандашом абзацем, и Шура сразу попала на эту наивную удочку.

Быстрым шепотом она прочла отчеркнутое:

– Море, – сказал Сергей Головин, вносясь и лова ртом воздух, – там море.

Муся звучно отозвалась (и тут-то следовало особо жирно подчеркнутое):

– Мою любовь, широкую, как море!

– Ты что, Муся? (вся следующая строка опять была подчеркнута красным).

– Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега.

– Мою любовь, широкую, как море, – подчиняясь звуку голоса и словам, повторил задумчиво Сергей.

Покорившая меня фраза, так, казалось, созвучная моим ощущениям, повторяясь приглушенным рефреном, прошла в ее удивленном полушепоте. Но тонкая музыкальная натура этой районной телефонистки, видно, сразу расшифровала нарочитость подчеркнутого мною места, и читала она под конец протяжно, почти скандируя, с едва уловимым оттенком незлой иронии.

– Однако вы, Николай Иванович, не очень изобретательны, – помолчав с минуту, вдруг строго сказала Шура и со вздохом положила книгу на диван. – Уж взяли бы просто «Евгения Онегина». А то вы такой сухопутный и тихонький – и море! Мо-ре, вы понимаете?

– Но там же Ольга... А тут просто то, что я чувствую, – не сдаваясь, угрюмо перебил я.

Шура опять усмехнулась, и ее подвижные бровки лукаво сошлись на переносье.

– Ну и зачеркнули бы Ольгу и написали... другое имя. Раз уж не можете промолчать.

После этого она отодвинулась от меня на полметра и так же мечтательно сказала:

– Море!.. Но мы с вами ведь его ни разу не видели. Что мы знаем о море?

– Я видел его сто раз! – вполне искренно вырвалось у меня. Шура не удивилась. Только потом я догадался, что под этим морем, невиданным ни ею, ни мной в природе, она подразумевала совсем другое.

– Где это вы его видели?

– Во сне! – так же запальчиво буркнул я, начиная распалаться самолюбием: «Ну, не нужен я тебе – скажи прямо, а к чему все эти подфигуривания?»

Но Шура, сразу уловив все оттенки моей обиды, с каким-то чисто женским тактом свела все на шутку:

– Ну разве что во сне! Нет, это не то. Во сне я даже летаю. Нет, бросим о море. Дружба лучше.

Она помолчала, насмешливо пошевеливая бровями, а потом сказала совсем материнским тоном:

– Так вот, дорогой мой товарищ Никто. Знаете, что самое главное в наших отношениях?

– Для себя знаю.

Но Шура отодвинулась еще дальше и погрезила мне пальцем с покрашенным и острым ноготком.

– Не надо быть таким эгоистом. Самое главное в наших отношениях – это то большое доверие, которое я к вам питаю. И вообще, я начинаю считать вас своим искренним другом... И – запомните – пока мне этого вполне достаточно. А еще я страшно хочу спать. Вы посидите за меня возле «умывальника»?

Что мне оставалось делать? И я сидел на ее конторской круглой, обитой кожей табуретке, читал великолепный и страшный рассказ о семи повешенных, двух девушках и пяти мужчинах, а Шура, заперев наружную дверь на крючок и сняв туфельки, ровно дышала, свернувшись клубочком на диванчике, и лицо ее было безмятежно.

Под щеку она постелила на валик дивана чистый носовой платок и, словно заслоняясь от света, держала одну руку на закрытых глазах. Иногда, шепотком щелкнув, отваливалась круглая крышечка над одним из черных номерков коммутатора, я втыкал в тугое гнездышко штепсель и говорил тонко, стараясь подражать Шуриному голосу:

– Четвертый! – И спать мне не хотелось ни капли, потому что вокруг меня был необычной свежести воздух, которым дышала Шура, воздух огромной горной высоты и разряженности от всего земного. Какой уж тут сон!

Потом, сдав смену, мы шли вдоль берега Лежмы, и тихое солнце, встающее за бетонным кубом ТЭЦ, клало на нее отлогие, еще не жаркие лучи, и вода маслянисто светилась.

Редкие прохожие провожала нас понимающими взглядами, и откуда было знать им, наивным северянам, упрощенным тайгой, охотой и лесосплавом, что я даже ни разу не поцеловал эту кареглазую девушку в легонькой газовой косынке на светлых волосах...

\* \* \*

Примерно в эти же летние недели километрах в ста к северу от Чапеи бурно зафантанировали три только что пробуренные нефтяные разведочные скважины, и вернувшийся с курорта Гоша Гребенщиков, похудевший и загорелый, собрал к себе в кабине-тик при квартире обоих механиков и все комсомольское бюро.

Колонна наша по возрасту как-никак была молодежной, а Георгий Петрович, только за глаза именуемый Гошей, прекрасно понимал, что без опоры на наше бюро ему не обойтись.

За стеной кабинета, помещавшегося, в полудачном домике Гребенщиковых, мелко стучала швейная машинка, потому что сама Лидия Алексеевна в свободные от дежурства часы никогда не сидела без дела, и весь тон совещания был поначалу совсем не официальным.

– Как отдохнулось, начальник? – только усевшись перед столом «шефа», спросил Биллаж с той добродушной фамильярностью очень старого автомобилиста, обращающегося к коллеге – автомобилисту помоложе.

– Какое отдохнулось! – подавленно вздохнул начколонны, но все запахи крымско-кавказского побережья так распирала его могучую грудь, что сразу настроиться на официальный лад он все-таки не смог. – Больше измучился и, между нами, девушками, пропился, как турецкий святой... Словом, Петропавловскому пришлось телеграмму отбивать: «Терплю бедствие. Возврат месту службы под угрозой срыва. Срочно шлите триста рублей. К сему Гребенщиков».

Все дружно засмеялись над так явно тут же сочиненным текстом фантастической телеграммы, потому что Николай Федорович Петропавловский был вовсе не из тех начальников, кому можно было давать такие сигналы бедствия. Но даже в этом невинном вранье была доля правды: пропившись на курорте, Гребенщиков и самому крупному начальнику, вплоть до замнаркома, никогда бы не сказал, что проболел малярией. И Гошу, не смотря на властный характер, мы больше всего почитали и даже любили именно за это свойство: никогда не лицемерить и не называть черное белым.

– Да и как не обсохнешь, когда на каждом перекрестке то подвальчик, то ларек, и любой кацо на одну пробу чуть не полный стакан наливает. Так как же меньше литра брать, коль на пробу стакан? Выходит, в переводе на сибирский язык: у тебя душа, а у меня портянка? Ну, вина там легкие, в голову не бросаются – макузани, табиани, алла-верды всякие. Прямо чистая Франция, Шампань или Токай...

Неистовое южное солнце еще переливалось в свинцовых глазах Гоши, так запросто путавшего Шампань с Венгрией, и мы от души сочувствовали своему шефу, ошибавшемуся не только в географии, но и в мере потребления всяких связанных с нею благ. Приревновал его к никем не виданной Шампани один Горбунов:

– А как, осмелюсь спросить, названия этих подвальчиков, Георгий Петрович, не запомнили? Ну там «Рион» или «Алазань», что ли... – будто бы невинно спросил он, наш неизменный и прилипчивый «пластырь».

Гоша виновато вздохнул.

– Ну разве запомнишь? Да и не по-русски написано, – развел он руками, все еще видя перед собой вовсе не железные вывески с кудрявой грузинской клинописью, а лишь одно кавказское солнце, бьющее сквозь стакан легкого золотого или розового вина.

– Ну, тогда осмелюсь доложить, что до Франции вашим подвальчикам как до Луны, – авторитетно объявил тоже никогда не бывавший во Франции Горбунов, беря в кулак свою генеральскую бороду. – Вот, например, слышал я, в Париже был шоферский кабачок «Дохлая корова», а напротив конкурент кабачика открыл другой под вывеской «Корова, которая еще не сдохла». Ну как такое забудешь? И у каждой «коровы» были сторонники. И чудесная картина будто бы получалась...

Но теперь улыбнулся только один Биллаж, который по утрам, если не дежурил в ночь, был всегда очень вежлив, а мы промолчали. И вовсе не из раболепия перед Гошей Гребенщиковым, просто вечное противопоставление Горбуновым заграницы всему советскому уже набило нам оскомину. И насмешливо перекосившаяся бровь Петра Ельца могла означать только одно: ну его, этого знатока понаслышке парижских «Дохлых коров», у Гоши рассказ получался как-то сочнее.

– Нда-а, чудесна картина: коза везет Мартына, – чуть-чуть озадаченно, но тоже ревниво сказал Гребенщиков и в четверть глаза подмигнул Биллажу. – А вот, наоборот, Мартын козу везет. Однако, делу время – потехе час, давайте о деле.

Пословица о козе и Мартыне, завезенная на Веселый откуда-то с юга, была у нашего начколонны любимой и имела массу оттенков. Сейчас она могла значить только одно: хоть ты и с генеральской бородой, а не задавайся, с твое-то мы как-нибудь знаем. Только на анекдотах и едешь.

– Так вот, рабочий класс, – уже внушительно сказал Гоша, в прошлом сам рекордист-скоростник и тяжеловозник, за что, собственно, Петропавловский и наградил его властью. – Нефть бросает нам вызов. Будем принимать? Или подождем, когда начальство прикажет?

– Трубы-то? Повозим, – беспечно и гордо отозвался как всегда первым Петро Елец, наш бессменный комсорг, уже знавший от того же Гребенщикова о новых скважинах на Севере. – Только давайте одров под них не ставить. Горы. Скользь. Один Крохаль боком вылезет.

– Раймонд Фердинандович, кого? – уже решительно вступая в деловую струю и понимая все, относящееся к ней с намека, повернулся Гребенщиков к Биллажу.

«Австрияк», совсем как в классе, поднялся с места и достал из нагрудного карманчика блузы свой увесистый «талмуд» – пухлый блокнотище, вмещающий чуть ли не все послужные формуляры автопарка колонны.

– Да вставать-то зачем? – явно любуясь его всевмещающим «талмудом», пророкотал Гоша, и механик с достоинством опустил на место.

Он всегда и во всем подавал нам пример дисциплинированности и уменя себя держать на людях. И иной раз было достаточно его холодноватого и напряженного: «Вы, молодой человек, забываете, что находитесь на службе», – обращенного к провинившемуся, чтобы вся наша шоферская вольница стихала и переставала поддерживать любого нарушителя гаражного порядка, будь то хоть сам Володька Яхонтов.

– Я полагал бы, товарищи, остановиться на следующих машинах, – подчеркнуто бесстрастным тоном эксперта, выступающего в суде, начал он, легко листая свой оправленный в кожу блокнот и одновременно доставая из футляра тяжелые профессорские, тогда еще редкие на севере, очки-велосипеды. – То ёсть полагал бы переоборудовать под трубовозы следующие гаражные порядковые номера...

Он один за другим называл номера машин, а Гоша, не оспаривая ни одного, четко и крупно записывал их на лист чистой бумаги, и на лице его было спокойное выражение командира, уверенного в своем начальнике штаба.

Мы же все, члены комсомольского бюро, следили за цветным карандашом Гоши и в душе слегка недоумевали: причем бюро во всем этом, чисто административно-хозяйственном священнодействии? Но Гоша из всего умел извлекать выгоду для своей «колонки».

Кроме двух имеющихся на Веселом трубовозов, Биллаж назвал еще шесть ЗИСов, видимо, с учетом их малого пробега, и только после жирной черты под последним номером, особо твердо проведенной Гошей, снял очки и сокрушенно забрал в горсть бритый подбородок.

– Но прицепы, Георгий Петрович, жидковаты, – сказал он горько и сожалеюще развел руками, – и вы сами понимаете, ни Григорий Иванович, ни я взять их на свою совесть не можем-с. Они, извините, оборудованы на соплях-с. Последний, так сказать, путный я поставил Кайранову и провозился с ним два дня.

– Не унывай, отче Раймонде. Прицепы усилим, – благодушно пророкотал Гребенщиков и накрыл все шесть номеров на листе своей великаньей ладонью, как бы беря их под защиту от излишнего формализма и привередливости механиков. – Наварим планки. Поставим швеллерные траверзы.

– Электросварка не пойдет, Георгий Петрович. Она слишком жестка на излом. Надо ацетилен.

– Только ацетилен, – согласно поддакнул до сих пор молчавший Горбунов.

– Делов вагон! Будет вам и белка, будет и свисток, – засмеялся Гоша, а Григорий Иванович опасливо подсказал продолжение начатой им стихотворной строфы, известной тогда каждому грамотному человеку их лет, хотя бы из школьной хрестоматии.

– Дайте только срок. А срок получим все. Вот именно. Как только кто убьется. Один Крохаль... Это вам, знаете, не кавказские подвальчики.

– Срок, срок! – уже недовольно буркнул Гоша и, задетый за живое, все-таки не удержался, чтобы ответно не поддеть нелюбимого им, как и всеми, механика. – Срок нынче больше всего за ваши анекдоты дают и то... бог грехи терпит. Ведь каждый вечер треплетесь.

Но умница Биллаж, как и всегда, сразу плеснул розовой водицей на затлевший было огонек раздора:

– Георгий Петрович, мы отклонились от главной темы. Имею предложение, – сказал он, мягко улыбаясь. – Вы достаете карбид и аппаратуру, а варить буду я, Биллаж. Как бы – музыка ваша, слова мои. Ибо электросварщики у нас на газе малоопытны. А я варивал и газом. По рукам, начальник?

– Спасибо, старик, – сразу забыв о горбуновских анекдотах, веско сказал Гоша и облегченно вздохнул: – Вот учись, Григорий Иванович, как не надо вести толковище ради толковища. Ведь и твоя милость, помнится, хвастала, что с ацетиленом на ты? А выручил, как всегда, Биллаж. Ну а теперь речь к комсомолу.

Он так же шумно повернулся в своем деревянном кресле лицом к нам, державшимся кучкой, и Петро Елец, словно становясь в строй, с построжавшим лицом выпрямился на стуле.

– Вот вам, комсомольцы, шесть геркулесов, а кого вы на них посадите и кого назначите старшим группы – дело хозяйское. Но ответ за план и работу спрошу со всего бюро. Идет? – внушительно, но не строго спросил Гоша, и мы не сразу поняли, шутит он или нет.

А он подтолкнул к Петру по столу листок с номерами, и тот невозмутимо взял его, не читая, сложил вчетверо и сунул в карман.

– Старики ворчать будут, как их ссаживать начнем... – опасливо буркнул кто-то из членов бюро, и Елец отрезал также невозмутимо:

– Удел стариков – ворчать. А трубовозы – дело молодое. Там смелость нужна. Сила. Выносливость.

– Так идет, значит? – улыбаясь, спросил Гоша.

– А раз надо, всегда идет, начальник, – уже совсем просто, как должное ответил Елец, в прошлом балтийский краснофлотец, моторист-подводник, тоже иной раз умевший складно говорить с любым начальством, никогда не теряя собственного достоинства. – Кого садить – это мы разберем не спеша, по справедливости, а старшим, по-моему... – он остановил спрашивающие светлые глаза на мне, сидевшем напротив, и я, сразу поняв его мысли, быстро подсказал:

– Кайранова. Только.

– Это что за Кайранов? – спросил Гоша, прогулявший по Кавказу почти два месяца. – Шофер, что ли, новый?

– Милостью божьей шофер, Эм-Бе-Ша, – негромко и строго сказал Биллаж, опять вежливо привставая со стула. – Сменщик Яхонтова. Дипломированный автоинженер из Москвы.

– Инженер? Так какого же мы черта... – недовольно забурчал Гоша, как бы невзначай резнув взглядом по бороде Горбунова. Но Биллаж, все еще не садясь, сказал так же строго, заведомо покривив душой в пользу своего подзащитного:

– Вопрос в ваше отсутствие был согласован с Николаем Федоровичем Петропавловским. Он прислал Кайранова к нам. И только шофером. И только на тяжеловоз. Яхонтов им очень доволен. И только...

– И только в морду. И только в кровь. Развели бояр. Яхонтов привередничает. Дай того, кто ему понравился, – сердито вздохнул Гоша. – Этот твой дипломированный – тоже. А ты, пользуясь моментом, им потакаешь. Он что, не за длинным ли рублем?

Патриот своего горного тракта, сам старейший водитель авто-линии, Гоша терпеть не мог тех приезжих шоферов, что считали и тракт и линию не целью, а средством.

– Не совсем за длинным, – мягко уклонился от прямого ответа Раймонд Фердинандович. – Но деньги ему, действительно, нужны. У него исключительно тяжелое семейное положение...

– Ну шут с ним, раз тяжелое. Тебе, старина, верю. – Гоша опять повернулся к комсоргу. – Но ты вот что, Петро. Хоть я своёму слову и хозяин, и будет все так, как вы решите, но... – тут в его голосе прозвучала чуть-чуть смущенная нотка, – но правильно ли Яхонтова-то обходить? Ведь как шофер он, сам знаешь, – бог, не шофер. И у народа в авторитете.

– А это мы, начальник, подумаем... раз спрос со всех будет. На бюро подумаем, а то и на общем собрании, – невозмутимо отпарировал это не очень смелое посягательство на внутрикомсомольскую автономию наш вожак и первым поднялся. – Так разрешите идти, Георгий Петрович? А то у меня клапан притирают. Не напортачили бы.

...Заседание бюро, состоялось у нас в бараке, потому что клуб был закрыт на побелку. И Кайранов и Яхонтов, поставившие машину на профилактику, были тут же. Вообще, мы в те годы мало секретничали от тех товарищей, кандидатуры которых обсуждали.

Пришел будто бы ненароком и старик Биллаж, вообще-то редкий вечер теперь не заглядывавший на нашу половину.

И тут Сашка опять удивил всех своей необъяснимой скромностью и такой вовсе не типичной для него, смелого человека, боязнь даже самых скромных командных высот.

После того, как кто-то из членов бюро назвал Яхонтова, а мой сменщик выступил за Кайранова, Елец сказал, смущенно покашливая:

– Ну, раз мнения разделились, придется вынести вопрос на обсуждение общего собрания. А честно сказать, – он беспомощно усмехнулся и развел руками, – я и сам не знаю, что делать? Кандидатуры по всему равноценные. Ей-богу, не знаю.

Яхонтов, уже переодевшись в чистое, в полосатых носках лежал на койке и сосредоточенно курил, выпуская дым колечками и норовя попасть кольцом в кольцо.

– Да что же это происходит?

Сашка Кайранов, красный, как воскресенье в календаре, вдруг поднялся над столом, за которым он читал учебник для шофера 1-го класса, и совсем по-ученически поднял руку. Елец поспешно кивнул, давая ему слово.

– Братцы, помилосердствуйте! – вскрикнул Сашка. – Да что же это получается: не успел человек приехать, корни пустить, а его уже выдвигают... – он запнулся и смял все в скороговорку: – Ну, словом, категорически отказываюсь от незаслуженной чести.

Сашка так же порывисто сел и уткнулся глазами в книгу, и был он так неподдельно правдив в своем возмущении, что никто из нас ни на минуту не усомнился в его искренности.

– Дело! – веско подтвердил Петро и опять простодушно улыбнулся. – Я бы и сам так поступил, Итак, ввиду отвода кандидатуры самим кандидатом, тьфу, язык за язык зашел. Словом, проголосуем. Кто за Яхонтова? – и первым взбросил высоко вверх свою татуированную якорями и парусниками ручищу.

Так большинством всех голосов при одном воздержавшемся начальником группы тяжеловозов был избран Володька Яхонтов.

Он спустил свои полосатые ступни на коврик – обрезок соха-тиной шкуры – и сказал насмешливо:

– За честь благодарю. Но потачки не ждите. За побитые рессоры буду снимать беспощадно. Вот мы с Саней, то есть с Александром Петровичем, – он ткнул большим пальцем себе за спину в согнувшегося над книгой сменщика, впервые назвав Сашку, бывшего на три года моложе его, так уважительно и серьезно, – за месяц без дня доказали – рессоры могут быть целыми. А лихачей, хоть и с комсомольским билетом, мне... нам, то есть, в группе не надо.

Уже когда все члены бюро разошлись, а Петро Елец, сидя на койке, через голову стягивал с себя полосатый матросский тельник, к которому он, и два года назад демобилизовавшись, имел неизменное пристрастие, Володька сказал совершенно серьезно:

– Эй, комсорг, а как же это будет – начальник, лицо, а без личного телефона? Раз уж твоя затея меня на группе женить, ты и расстарайся мне для общего руководства хоть какой бшивенький аппаратчик вот сюда, – он похлопал ладонью по тумбочке в изголовье и трубно захохотал. А Петро, тоже бывший не последним шутником, отозвался из-под полосатой тельняшки:

– Я тебе расстараясь! Такую эриксоновскую скворечню, что любо-дорого. В пуд весом!

Дня через два, только возвратясь из рейса, Петро неожиданно сдержал свою мрачно-насмешливую угрозу. Под общий хохот он приволок в третий барак огромный старинный телефон фирмы «Эриксон и Компания», моток тонюсеньких проводов и ящик с сухими батареями. Пользуясь своими сильными знаниями монтажных схем, он стал «присобачивать» все сооружение в изголовье Володькиной койки.

Примеривая «скворечню» к стерне, он смеялся, перегибаясь вдвое, и сквозь смех рассказывал:

– Явился я к этому самому «материалисту» и говорю... Фу-у, подохну я с этой домовиной, помогайте, черти полосатые... И говорю: пожалуйста, выпишите мне телефон на квартиру начальника колонны тяжеловозов. На полном, заметьте, серьезе говорю, с каменным лицом. И он мне на полном серьезе: – А у нас уже есть такое лицо? – Есть, говорю, лицо, а главное, глотка, и без телефона ей немислимо – сами понимаете, общее руководство.

Шоферы тоже хватались за животы, представляя себе бледное и чопорное лицо «материалиста», пожилого бухгалтера группы материального учета.

– И что вы думаете? Выписал «через шофера Елец П. Ф.». Да я, говорю, чистый хохол, меня же склоняют по всем падежам: Елец, Ельцу, Ельцом, – Разве? – говорит. И накладную переписал, чтобы без помарки. Вот ведь дуб палисандровый!

– А ничего он не дуб, просто приучен уважать начальство, – вдруг вполне серьезно вступился Сашка Кайранов, умывавшийся под медным рукомойником в углу.

– Так ведь я не говорю – не уважать. Уважай, да знай меру, – буркнул Петро и, обеими руками прижав «скворечню» к стене, сказал сквозь зажатые в зубах гвозди, кивнув на молоток: – Ну-ка, ударь... потом домоешься, ведь не удержать одному-то.

Но Сашка, мокрыми руками придерживая Телефон, сказал все так же невесело:

– Я часто и сам об этом думаю и прихожу к убеждению, что, видно, так надо... в воспитательных целях, что ли...

– Ша. Гвоздь сгибаешь. Бей аккуратнее, – словно не расслышав Сашкиных невеселых слов, прикрикнул Петре и крепче припер скворечню к стене. – Нет, уж допотопно, так допотопно все это. И громоздко тоже.

Я так и не понял, о чем он сказал – то ли о конструкции телефона, то ли о сверхмерном уважении к начальству, которое Сашка вдруг так неожиданно оправдывал.

Но телефон был действительно устрашающе велик, с тяжелой, повышенной на блестящий крюк трубкой и заводной ручкой сигнала, гораздо крупнее и ту же, чем у самого мощного бошевского магнето.

Когда Володька вернулся из рейса и увидел это допотопное надругательство над своей особой, он сразу нахмурился, подошел к Петру, игравшему со мной в шахматы, и мрачно спросил:

– Ты что же, Елец, шуток не понимаешь?

– Погоди-погоди. Дай додумать. Мой ход, – отсутствующе буркнул Петро и, только поставив ферзя, поднял затуманенный шахматами взгляд на Володьку. За шахматной доской наш комсорг уподоблялся токующему тетереву, и ничто постороннее не могло сдвинуть его с тока, разбитого на бело-черные клетки.

– А-а, ты про скворечню? Так ведь сам же просил, – наконец будто бы поняв значение вопроса, совсем невинно и даже весело сказал он, доставая из кармана смятую накладную. – Вот распишись: «Получен через Ельца П. Ф. в количестве одного экземпляра телефон б. у. марки Эриксон», – и не заедайся: все диспетчера тебе скажут спасибо, за вызовом в наш барак не бегать. А то, знаешь, зимой им каково? Что тебе, жалко? Пусть висит.

Все за столом опять смеялись, а новый начгруппы подумал, повертел накладную в руках и, наконец, засмеялся сам. Поставил хвостатую подпись на бумажке, подошел к «Эриксону», долго с сомнением разглядывал махину, покрутил тугую ручку и сказал огорченно:

– У газика легче проворачивается.

А мы продолжали хохотать. И больше всех смеялся я, не подозревая, что именно эта чертова скворечница с двумя блестящими звонками принесет такие изменения в мою судьбу.

Был обычный погожий северный вечер начала июля, когда от накалившихся за день камней вначале пышет сухим жаром, словно от блока перегретых автомобильных цилиндров, а потом сразу, минут за 10–15, из низин начинает наносить прохладой, и даже над самыми малыми ручьями поднимается голубоватый молочный туманчик, и суровый иссиза-черный пихтач вдруг горьковато и сладостно запахнет апельсиновой коркой и свежими яблоками.

Чапая гасила последние огоньки, словно кто-то брызгал водой на пылающие, но уже разрозненные угли.

– Какая ночь! – восхищенно сказала Шура, привычно усаживаясь в кабину моей еще не налитой цистерны. – Нет, ты понимаешь, слышно, как трава растет...

Ночь действительно была тиха и величава. Звезды, казалось, с каждой минутой становились все крупнее и ярче. Но лишь только я спустил машину с пригорка под тремя соснами, как почувствовал неладное: видно, ослаб передний правый баллон и моего «Захара» упорно вело в сторону.

Заглушив мотор, я вылез из кабины и принялся на ощупь определять прокол. На передке стоял старенький баллон с двумя манжетами.

Шляпка здоровенного гвоздя торчала из «лысой» резины и, лишь я вырвал гвоздь из покрышки, зашипел хлынувший в прокол воздух. Все было ясно.

– Иди, Шурик, домой на одиннадцатом номере. Я припух часа на полтора, – сказал я, трагически вздохнув, и полез под сидение за домкратом.

– Ну, уж скажешь тоже! – пренебрежительно и весело отозвалась Шура и с чуть-чуть насмешливым сочувствием погладила меня по согнутой спине. – Уж посижу с тобой. Пострадаем вместе. Такая ночь чудесная! Ну, помочь?

На днях исполнилось как раз четыре месяца нашей дружбы, и Шура, став постоянной пассажиркой моего ЗИСа, уже без лишних слов понимала, что такое гвоздь в покрышке и смена проколотой камеры.

– Твоя помощь в том, что ты здесь, – невразумительно от волнения буркнул я и, благодарно улыбаясь, принялся поддомкрачивать переднее колесо.

Поношенная резина в те годы была привычным бичом всех окраинных шоферов, и в нашей. автоколонне еще помнили нашумевшую с год назад печальную историю Феди Эрделева, ехавшего от Веселого до Усть-Кои ровно двенадцать суток, «зарядив» и перемонтировав по пути шестьдесят четыре баллона. Конечно, если бы не «лысый» протектор на переднем колесе, и на этот раз не всякий гвоздь на тракте был бы мне страшен.

Но только я снял правый баллон, как яркий свет фар упал на дорогу, и по дребезгу труб на прицепе я сразу определил, что идет тяжеловоз. Пыхнув пневматическими тормозами, машина остановилась и, выключив фары, затихла. Голос Сашки Кайранова окликнул меня из темноты.

– Да вот... гвоздь, черт бы его!.. – нехотя ответил я, и Сашка сразу вылез из кабины и нагнулся над спущенным баллоном, который я уже начал размонтировать посреди дороги.

С непокрытой курчавой головой, в голубой футболке стоял он в неистовом свете моих фар, и зубы его засветились в сочувственной улыбке.

– Брось-ка ты его за обрешетку, – сказал он, пихнув баллон ногой. – Дома смонтируешь. Забирай мою запаску.

Резина на тяжеловозах была новая, и я принял Сашкино великодушие почти как должное. На его месте и я поступил бы точно так же, потому что шоферская взаимопомощь на нашем тракте особым подвигом никогда не считалась. Вероятно, сказывались традиции Гоши Гребенщикова и старика Биллажа.

Снять новое запасное колесо с платформы тяжеловоза было минутным делом.

Сашка постучал каблуком по каменно-твердой резине, и она ответила ему тихим звоном – четыре атмосферы в новой камере держались надежно.

– Вот и вся недолга, – только и сказал Сашка и пошел к машине.

Вспыхнули фары, чихнул заведенный мотор, и мой спаситель уехал на техбазу разгружаться, а минут через десять и я, вымыв руки в придорожном кювете, залез в кабину и нащупал ногой кнопку стартера. Дорожное происшествие будто бы было исчерпано. Однако оно только начиналось.

– Кто это тебя так хорошо выручил? – заинтересованно спросила Шура, когда мы тронулись дальше.

– Обычный шофер. И выручка обычная, – сказал я, гордый традициями Веселого Кутка, и еще похвалился на собственную шею: – У нас так исстари принято.

Но Шура тоже выросла возле тракта, на котором вовсе не каждый каждому отдавал займы новенькие запаски.

– Он мне рассказывает, как у них принято, – насмешливо фыркнула моя не в меру грамотная Шурочка. – Человек без слова сам предложил новенькую запаску и... принято! Как его звать, этого парня?

Легкая тревога, словно зажегшийся вдали красный огонек стоп-сигнала, вспыхнула в моем сердце. До этого Шура никогда так не интересовалась встречными шоферами, если мы даже разговаривали и по полчаса.

– Звать Сашкой. Только и всего, – ответил я подчеркнуто равнодушно.

– Не только. У него очень интеллигентное лицо.

И вот тут-то меня занесло, как на гололеде. Во-первых, Сашка Кайранов во всем был для меня примером, и я гордился дружбой с ним, как первым доказательством того, что и сам я чего-то стою. А во-вторых, не мог же я посадить Шуру под стеклянный колпак и не показывать ни ее моим друзьям, ни моих друзей Шуру. Не на столько уж я был скуп.

– Еще бы не интеллигентное, – сказал я еще равнодушнее, – если он законченный инженер по образованию и работал научным сотрудником в автодорожном НИИ...

– Ну уж прямо! Все это ты придумал, – сразу усомнилась Шура. Но я заметил, как дрогнули ее ресницы, и снова увидел блестящие Сашкины зубы и его курчавую голову, в белых лучах фары склоненную над брошенным посреди дороги баллоном.

– Научный сотрудник, а вместе с вами по горам ЗИСы гоняет. Чудно как-то... – уже задумчиво прикинула Шура, и в ее словах я услышал грустное сочувствие.

– А он затем и гоняет, чтобы своим ученым дубам и бюрократам доказать, что от инструкции не все взято, – запальчиво и почти наугад бухнул я, совсем и не предполагая, насколько близко я был от правды. Просто этот вариант причины Сашкиного приезда на наш горный тракт показался мне наиболее подходящим в обрисовке облика автоинженера Кайранова. И не мог же я какой-то чепушной боязни ради, что он «отобьет» у меня Шурочку, покривить душой и слукавить в разговоре о нем, пусть даже и с этой самой Шурой Король.

В тот раз мы, как обычно, посидели в кабине моего «Захара», остановив его возле крыльца Шуриного общежития, слушая ночь.

Она текла широко и плавно, как большая черная река в лесных берегах, и всплески, шорохи, сонные бульканья недалекой Лежмы казались на ее бескрайнем плесе не громче, чем потрескивания остывающего глушителя у нас под ногами.

Уходила вверх и терялась в звездах тренога заброшенной бур-вышки. Где-то на новой действующей буровой скважине кузнечиком молотил движок. Ночь пахла вянущим сеном и нефтью.

Изредка, нарушая безмолвие, тревожно вскрикивали паровозы на станции за рекой.

– Знаешь, все-таки это не каждый сможет, – доверчиво сказала Шура, и я, еще не дослушав, понял, что она говорит все о том же Сашке Кайранове, – ради доказательства какой-то... идеи бросить институт и сесть за руль вот такой махины.

– Ну что ты к нему привязалась? – спросил я с угрюмым отчаянием, тоже заранее зная, что сморожу сейчас самую крайнюю глупость. – Ведь все равно лучше меня никто к тебе никогда относиться не будет.

– А я знаю. Ты же мой верный... лыцарь Ричард. Но... поговорим об этом в другой раз, – совсем не обижаясь, даже весело, отозвалась Шурочка и, по обыкновению взъерошив мне волосы, прыгнула с подножки. Мелко стуча каблучками по доскам тротуара, она побежала к дому.

Биллэж пришел к нам в барак в отменном настроении («юморе», как вычурно называл он). Гараж был пуст и звонок, как старый лабаз, и одни ручные голуби еще перепархивали под его закопченными стропилами, устраиваясь на ночлег.

Кто-то из нас попросил механика сыграть на скрипке, и я побежал в его редко когда запиравшуюся комнату в «семейном сарае» за скрипкой и смычком.

– Канифоль на столе! – крикнул он мне вдогон, и я понял, что старина сегодня в особом ударе и одними «Сказками Венского леса» или увертюрой к «Кармен» дело не обойдется.

Но получилось все совсем иначе.

Механик еще сосредоточенно канифолил смычок, а кто-то из самых молодых шоферов, дурачась, подошел к эриксоновской вертушке и басом сказал в поднятую трубку:

– Ресторан «Норд?» Срочно две дюжины пильзенского! Нет, жигулевского! И еще...

И тут шутник умолк на полуслове, прикусив язык. А я еще от стола не услышал – почувствовал, как ветерок на лице, Шурин голос, уменьшенный всеми несложными хитростями мембраны и шестьдесятю километрами провода.

Шура пела тоскующе и призывно:

*Средь шумного бала, случайно,  
В тревоге мирской суеты...*

Единственный человек в третьем бараке – Васярка Доган, по праву моего давнего сменщика знавший тайну наших отношений с «четвертым номером», накрыл черное блюдо эриксоновской мембраны своей полупудовой пятерней, отобрал у шутника трубку и предостерегающе подмигнул мне.

Я, махнув через скамейку, сразу очутился возле «скворечни» и тут же перехватил трубку из горячей Васяркиной руки. А он, только шепнув: «Твоя поет!» – как ни в чем не бывало полез в ближайшую тумбочку, словно за этим и подходил сюда.

В нашем быту вечных разыгрываний и подначек эта дружеская предосторожность совсем не была излишней. Многие и так уже догадывались, где это я пропадаю все свободное время, часто в ущерб и сну и отдыху.

Незаметно подняв к уху перехваченную из рук Васярки трубку, я захватил только виноватые слова Шуры:

– Ничего не выходит. Накупалась. Охрипла. Давайте лучше я вам спою «Нам не страшен серый волк» или «Кукарачу». Это полегче.

Кто-то на линии ожесточенно заспорил, а кто-то сказал басом, вероятно, старший диспетчер Усть-Кои:

– Ну давай, Шурочка, «серого волка». Где он, твой «серый волк»?

И вот шаловливая песенка сначала потихоньку, речитативчиком, потом все озорнее и громче пошла гулять вприпрыжку, по проводам, по всем двумстам шестидесяти четырем километрам телефонной линии.

*Ни один на свете зверь,  
Свете зверь, свете зверь... —*

все громче пела Шура.

И потом я часто задавал себе этот вопрос: ведь у людей и в те давние времена уже было всегда под рукой и областное и московское радио и патефоны, почему же песенки Шуры были так популярны на автолинии? Ответ этому мог быть только один: Шура для всех была своим человеком, и ее голосом гордились, как собственным достижением. Всего «четвертый номер» чапейской телефонии, а как поет! Не хуже, чем по радио.

Но тут Биллаж, прерывая мои несвоевременные раздумья, подошел к телефону. Прекрасно прослушивавший без стетоскопа даже самый легонький посторонний шумок в шатунно-кривошипной группе любого мотора, он через мое плечо нагнулся к телефонной трубке, ударил смычком по всем четырем струнам и бравурно заиграл свою любимую увертюру к «Кармен». Но тут же оборвал ее на первых тактах, на полутоне и крикнул в трубку, в поднявшийся возмущенный гомон всех Шуриных слушателей от Чапеи до Усть-Кои:

– Алло, Шурочка! Говорит Биллаж с Веселого. Помните, подвозил вас на ремонтной летучке? Вы еще сказали, что я похож на Бернарда Шоу, только посмуглее. Что вы скажете о нашем дуэте? Вы будете вокальное соло под мой аккомпанемент. Попробуем?

И Шура, к моему удивлению, нисколько не обиделась, а весело спросила в трубку, зажатую в моей руке:

– А что мы споем, товарищ механик?

– Биллаж, майн хайлигер хёрц. Раймонд сын Фердинанда мое имя. Все, что вам угодно, – прямо зашелся от удовольствия наш механик.

– Тогда давайте «Расскажите вы ей, цветы», – также весело и лукаво предложила Шура. Посмотрим, мол, что ты за музыкант и какова твоя эрудиция и память. – А Коля с ЭХА-14-73 там вблизи нет?

– Вы ясновидящая, Шурочка. Названный Коля стоит рядом и от ревности готов меня проглотить вместе со скрипкой и канифолью.

– Так дайте ему трубку. Он знает, как ее держать, чтобы звук был полнее.

– Век живи, век учись: мы и не подозревали, что наш Коля так эрудирован в акустике.

Хохотал Биллаж, смеялась Шура, смеялись все шоферы в третьем бараке, все диспетчерские и телефонки на линии от Чапеи до Усть-Кои, и даже я улыбался, потому что обижаться на нашего «австрияка» было невозможно, да и гордость от того, что Шура уже не скрывает нашего знакомства тоже ударила мне в голову.

Не смеялся один Сашка Кайранов, зажавший уши над столом, над толстым учебником для шофера 1-го класса, и лицо его было сосредоточенно и хмуро – он как раз бился над кольцевыми диаграммами фаз газораспределения, над видами планово-предупредительных ремонтов, которые после месяца, проведенного за рулем тяжеловоза, зазвучали для него по-новому.

Но когда заиграл Биллаж, – Шурино пение мы, конечно, не слышали, – улыбнулся и Сашка и отложил учебник.

Старик играл истово и вдохновенно, и капельки пота обметали его лоб и залысины на висках. Великое чудо музыки входило в наш непроветренный, пропахший бензином и табачищем барак.

Куда-то в сторону отступили и залатанный пиджачок Биллажа, и расстегнутый ворот его несвежей помятой сорочки, и меховые туфли на босу ногу. Осталась только скрипка и вошедшая в нее тоска бедного юноши, пытающегося вдохнуть ее в цветы, оживить, очеловечить их и сделать гонцами своего сердца к далекой спящей возлюбленной, увы, любящей другого.

Смычок то медленно скользил по струнам, то властно подгонял еще не отзвучавшую в воздухе мелодию, и Биллаж наклонялся, подчеркивая плечом все растущий звук, и казалось, скрипка не выдержит— и ее разнесет к чертям всей этой могучей нарастающей лавиной звучаний.

А наши сердца, грубоватые и простые, как бубны, сердца рядовых всевеликой шоферской вольницы, словно стая пегих голубей-турманов за шестом своего владельца, то взмывали ввысь и кружились там высоко в небе, верные приказу смычка, то спускались до самого конька закопченной гаражной крыши.

Когда механик кончил играть, по мембране защелкали клевки далеких аплодисментов, и, сразу заглушая их, дружным обвалом заплодировал весь третий барак и все собравшиеся возле его широко распахнутой двери. Без малого весь Веселый Куток сошелся перед нашим жильем на трепещущий огонь скрипки Биллажа.

За сверкающими в сумерках черными вишнями Лидочкиных глаз, холодно и желто, как медная кираса спешившегося кавалергарда, светилась кожанка самого Гребенщикова, никогда в этот поздний час не шлявшегося по двору без особой деловой нужды.

– Вот так-то, молодые люди. Веселиться, как и работать, надо уметь, – вытирая пот со лба огромным трехцветным платком, поучительно и устало сказал Биллаж, за пять-шесть минут

игры осунувшийся, словно после сердечного приступа. – И учтите еще: вначале была музыка. Вначале всего.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.